

ИГОРЬ БЕЛОДЕД



РАССКАЗЫ

Утро было глазом

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)-44
Б43

Редактор АНАСТАСИЯ ШЕВЧЕНКО

Белодед И.

Б43 Утро было глазом : [рассказы] / Игорь Белодед. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 304 с.

ISBN 978-5-00223-100-3

В сборник малой прозы Игоря Белододе вошли рассказы с нетривиальным набором персонажей: умирающий кот; пенсионер, живущий на злобе и ненависти как на топливе; учитель с деменцией; эмигрантка из квартала красных фонарей; девушка, находящаяся в деструктивных отношениях с отцом; патологоанатом; человек, столкнувшийся с собственным доппельгангером. Все они будто находятся в узком зазоре между двумя альтернативами: горем и счастьем, разумом и безумием, жизнью и смертью.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-100-3

© И. Белодед, 2023
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

самуил

Мыслям не свойственно воскресать — в этом заключалась вся горечь его умирающей жизни. Никакого бессмертия. Наволочка, в которую замотают его труп, вырытая под тепломагистралью яма, недолгое пребывание в неудобном багажнике — и точка — без риска обратиться в многоточие. Его мутило, хотелось пить и вместе с тем плевать, но он не мог этого сделать, потому волочил свою длинную кровавую слюну по полам всех комнат. Конечно, он осознавал, что доставляет неудобства, сумасшедшая старуха измаялась мыть полы, каждый божий день она приходила в его квартиру, звала его, выговаривая полное имя — бог мой! — он был назван в честь последнего великого судьи, ставила табуретку, которую звала «тубареткой», посреди комнаты и зазывно брала в руки массажную расческу с тучной пластмассовой ручкой. Она гладила его по лбу, он мурлыкал в ответ, но, когда расческа близились к бокам,

а тем паче к копчику, он валился набок, выпускал когти и колотил по ней ослабевшими лапами. Его шерсть поредела на животе, за ушами, а с неделю назад хозяйка вырвала целый клочок с его груди, когда ласкала его и плакала, ласкала и плакала.

Пыльный карандаш, задетый скорой тряпкой, подгоняя серые клубы, угодил ему в бок. Хотелось грызться и хотелось наперекор смерти жить. Он изо всех сил вырвался из-под тахты и побежал к раскрытому шкафу, чтобы затаиться в том самом отделении, где для него постелили полиэтилен. Бабушка стала призывно ксыкать, махнула на него рукой, оперлась о швабру и сказала в распахнутое окно: «Что же нам делать с Германом, а, Самуил?»

Первое имя относилось к сыну хозяйки, которого он нещадно драл в отрочестве: валился набок, кусал что есть мочи, вцеплялся в запястье, а задними лапами бил по руке до беспмятства. Зачастую только задираньем верхней челюсти его принуждали угомониться. Затем Герман брал Самуила за шкуру и метал в соседнюю комнату: ему положительно нравилось то, что он приземлялся исключительно на лапы. Последние годы Герман не притрагивался к своему питомцу, он мрачно углублялся в пыльные книги или в складник — лежа на тахте за спиной своего отца, который нынче всякий вечер тратил на поиск ножей в безбрежной сетевой хмари. Марки стальных, материал для рукоятей

в его жизни значили больше, чем благополучие собственных детей. Детей...

А он был ведь оскотлен... знакомым хирургом на кухонном столе в конце века, вспомнил он, устраиваясь в шкафу на шуршащий пакет, с которого на него глядела ломкая надпись о боте и проч.

Бабушка принялась мыть окно: воспользовавшись мнимым одиночеством, она сняла штаны и верхнюю сорочку. Ее наружность ужасала Самуила — короткая стрижка, бордовый цвет крашенных волос, морщины, в которых могло потеряться время, и охровое пятно под правым глазом, которое ее дочь отчего-то шепотом за глаза звала меланомой, толстые короткие ноги и живот — громадный вздувшийся живот, который выдавался вперед далее груди — бесильной взрыхленной груди семидесятилетней женщины. Теплый сентябрьский свет скрадывал уродства старости, стушевывал ее фигуру и, казалось, приближал бело-содалитовое небо к зрачкам, так что те сужались в толстые поперечные линии, плывшие корягами в голубом белке.

За окном, на подоконник которого взгромоздилась старуха, рос боярышник, не тронутый золотым тлением, с мясистыми рыже-приглушенными ягодами. На нем, бывало, собирались наглые сороки и стрекотали, дразня его, впрочем, последние несколько месяцев ничего подобного не происходило. Чуть поодаль росли

охровые сосны, а за ними стоял дом бабушки, растрескавшееся асфальтовое пространство перед ним было заставлено машинами, которые заезжали на тротуары своими громадными колесами и жались друг к другу с вedomой отзывчивостью.

Внезапно кто-то под окном мяукнул, бабушка всполошилась и закричала в шкаф: «Выходи, Сэмик, там твои друзья». Уменьшительно-ласкательных имен он на дух не переносил, и сейчас, когда его челюсть распадалась, отдавая метастазы в правое легкое, ему было не до мармеладных помяукиваний с дворовыми кошками, которые жили под кухонным окном. Под опалубкой, неподалеку от боярышника, была вырыта ямка, которая вела напрямую в подвал, там и маялись кошки, хороня каждый помет по нескольку котят, хороня и рождая. Беспрестанность круговорота пугала его: он не помнил своей матери, зато твердо знал, что она была из приличных питомцев. Впрочем, даже сейчас ему было жаль тех напуганных, взлохмаченных, сухощавых созданий, прячущихся в подвалах и лакомящихся крысятиной, а иногда и его сухим кормом, от которого он отказался месяц назад. Шум коробки, ударение сухарей друг о друга вызывали в нем горечь воспоминаний о тех далеких временах, когда его жизнь обещала быть вечной. Так и сейчас — старуха потрясала коробкой над ямой и радовалась обжорству подвальных кошек, как будто бы и ей не предстояло умереть.

Послышался металлический шорох замочной скважины, бабушка всплеснула руками и побежала открывать: пришла дочь хозяйки. Он не любил ее голоса, и комнаты ее он не любил: громадные, уродливые тряпичные создания, призванные заменять им его, — безжизненные куклы, годные лишь на то, чтобы впускать в их мягкие тела когти и драть, драть, драть — упоительно и нещадно. Он ненавидел эту шестнадцатилетнюю кокетку, он с удовольствием бы выцарапал ей глаза за то... за то, что она переживет его на полстолетия. Каков срок! Ее комната, оклеенная звездчатыми обоями, светившимися в темноте, была полна дурными запахами и бесконечными склянками различных форм, в их сосредоточении на сером столе стояла фотокарточка в коричневой недеревянной оправе, а на ней красовались эта пава с накладными ресницами и некий тип, которого он видел лишь однажды, когда никого не было дома. Они заперлись в комнате и, кажется, играли в какую-то игру, которая сводилась к тому, кто громче крикнет.

Из кухни донесся звук льющейся воды, а из большой комнаты — выкатываемого пылесоса. В прежние времена он истово боялся его гудения, но не теперь — нет, пускай его затащит в эту утробу, все лучше, чем терпеть невыносимую боль, будто бы клык животного, которого ты только-только убил, вонзился в нижнюю челюсть, зажегся синим пламенем,

и та ноет-ноет-ноет, так что исхода нет, нет никакого исхода к бессмертию.

Только позыв к мочеиспусканию заставил его вылезти из шкафа. Медленно, прижимаясь к стене, лапами натываясь на плинтус, размахивая хвостом от раздражения и боли, он направился к туалетной комнате, зацепил дверь лапой — и очутился в темном пространстве, заполненном его запахом, который он никак не мог закопать; после мочеиспускания в коробку для пропарки шприцов, которую пятнадцать лет назад принесла с работы его хозяйка, он обыкновенно скреб с остервенением лапами по лазурному кафелю и старался не думать, что это положительно смешно, потому что, черт подери, что такое вся ваша вера, как не точное следование ритуалам и безумным установкам? Так что молчите и дайте сделать дело. Но вдруг безжизненный свет упал на все, что было расположено в этом пространстве: циклопическую стиральную машину, ощерившуюся корзину для грязного белья, безмятежный унитаз с аутичным сливным бачком, лазурный кафель с белыми щелями, отделявшими один квадрат от другого, и на него, что, раскорячившись, сидел на алюминиевом поддоне для кипячения шприцов.

Вошла Ирина — девочка, которую он ненавидел, — с какою-то коробкою в руке. Он полагал, что она снова начнет его тыкать мордой в кровавую слюну, которую он оставлял по всей

квартире, как это бывало раньше, когда дома никого не было, — она лишний раз наказывала его за мишку, которого он разодрал полгода назад — в припадке бешенства и обиды. Но, не обращая внимания на Самуила, Ирина сделала все причитающееся и села на ободок. Он забеспокоился, тотчас же вскочил, затрусил по направлению к двери и принялся царапать по ней изо всех сил. Из коридора доносился гул заведенного пылесоса.

«Да погоди ты, дурень!» — сказала она сдавленным голосом, и тут же послышался звук соединения вод. Самуил вернулся к своему поддону, глянул на хозяйскую дочку и понял, что произошло что-то страшное. Она с брезгливостью смотрела на какую-то колбу, невидящей рукой тянулась к мотку бумаги и еле слышно про себя твердила о каких-то полосках. В конце концов, это было положительно скучно, и, быстро сделав свое дело, благо камней в его мочеиспускательном канале не было, он повернулся хвостом к Ирине и принялся с ожесточением скрывать когтями по кафелю.

Когда она выпустила его, гул пылесоса потух, а старуха копошилась рядом с пыльным мешком. Она сделала из чистоты мелкого божка, а все потому, что нигде, кроме обыденности, не искала богов, а ведь ими все было полно... Череп красивой бесхвостой женщины, походящий на лицо хозяйки, показался на большом экране и принялся о чем-то говорить. Прежде ему нравилось

внимать словам о далеких странах, о том, как несчастны умершие и счастливы те, кто наслаждается новыми законами, о том, как бог хранит его страну, но вражьи силы не дремлют, однако теперь это наводило на него скуку. Он даже точно не мог сказать, существует ли показываемый мир в действительности. Он никогда не выезжал за пределы их маленького города, хотя несколько месяцев назад он два раза побывал в ветеринарных клиниках, а тамошние врачи после разъема его пасти качали головой и отказывались брать деньги за осмотр, — но мир тот был узок и пахнул камфарой, собачьим духом и пустотой.

Начала смерти найти было нельзя. Да, было что-то неладное с кормом, да, наверняка наследственность сдала, но что с того? Его пугало то, что ему противостояло нечто, чья голова была отгрызена, но это нечто по-прежнему продолжало жить, двигаться и разить, так что точное обозначение этого нечто ничем не могло помочь, а только еще более запутывало его мозг размером с крупную сливу, его мозг, заполненный мыслью, которая никогда не умрет и не воскреснет.

Когда он был котенком, он рухнул с подоконника вниз, потому что заигрался со шмелем. Поранив передние лапы, он чувствовал свою беспомощность сильнее боли, ему ничего больше не оставалось, как сидеть под окном и жалобно мяукать в ожидании хозяйки, которая, как

всегда, запаздывала с работы. Подобное чувство беспомощности, усиленное постоянством разverzания тех язв, которые полагались быть закрытыми на веки вечные, и гнетущую усталость он ощущал и теперь. Сколько ему осталось? Неделя, другая? Но почему эти люди не замечают того, насколько жалка их жизнь по сравнению с его — сознающей свою смерть, отчего они тратят бесчисленные дни свои на такие пустяки?

Домофон разрывало от трезвона, бабушка, уже одетая, поспешила снять трубку. Ее голос был взбалмошен, суров и грустен. В квартиру вошел мужчина, большинство бы зачислило его в тот неопределенный разряд, который носит название «молодые люди», он был лохмат, высок и бессмысленно добро улыбался, когда подавал бабушке буханку хлеба. Та принялась тотчас же причитать и попрекать его отсутствием работы. Поцеловав ее в охровую меланому, Герман вошел в среднюю комнату, лег и принялся читать. Самуил не понимал его: однажды, когда он, комично вывалив язык, сидел на подоконнике и ожидал появления сороки, Герман заговорил с ним, такого не случалось с их общего детства:

«Мне так все опостылело, я не знаю, что со мной случилось (да-да, он употребил именно это выражение, по крайней мере, память его еще ни разу не подводила, как и зрение, даст бог, как и зрение), иногда мне просто не хочется жить. Все оттого, что они не хотят понять меня, они полагают мое созерцание безделием,

нежеланием искать работу, что я могу им ответить на это? Мне стыдно, и вместе с тем только вот в этом (он хлопнул по тугому переплету) я могу найти настоящее блаженство, да полноте! Ты не понимаешь меня! Кому я это говорю?» Кажется, под конец его речи на боярышнике показалась сорока, потому Самуил забыл окончание этой тирады, он не понимал, что за жизнь может быть в буквах, разве что адская жизнь, никак иначе.

Любопытства ради он разгрыз обложку одной из его книг, но не ощутил мудрости или истины, а только холостой вкус сухой бумаги. Обрывки фраз: «мовенг но лалыпсов», «ьнед йижоб» и что-то в том же духе — были бессмысленны и дурны, вечером того же дня он изрыгал ковер — грузный наследник прежней эпохи, об который точил свои когти в дневном одиночестве.

Жаль, что хозяйка не следит внимательнее за Германом, того и гляди он что-нибудь сотворит дурное с даром своей жизни, неспроста от него веяло тяжестью больших мыслей и их трупной, желтой наготой. Самуил, сидя в шкафу, видел, как Герман, лежа на тахте ничком головой к окну, проговаривает про себя прочитанное. Его раненый носок обнажал правую пятку, юноша постоянно вонзал пятерню в копны волос и вынимал ее лишь тогда, когда вполне уяснял себе затверженный пассаж. Пожалуй, до гениальности ему не хватало лишь отсутствия здравого смысла.

Челюсть зудела и нарывала. Приподнявшись с лежака, Самуил склонил голову набок и принялся бить по затылку задней лапой — выходило затейливо и вместе с тем скорбно. Удивительно, но боль отхлынула вглубь его нутра, почти сразу же Самуил почувствовал могильную усталость, которая не отпускала его ни на миг. Он лег сфинксом, подогнув под себя передние лапы, и смежил веки, из его рта дурно пахло разложением и смертью. Было зябко, в помытое окно билась вялая сентябрьская муха. Где-то обиженно тенором завывала машина. Так хотелось спать, так...

Ему снилось, как он преследует исполинское животное, каждый шаг которого сотрясал землю окрест. Он бежал изо всех сил, а кудлатое чудище, хоть и ступало медленно по мокрой земле, все равно его опережало, так что Самуилу пришлось наддать. Он был молод и не чувствовал больше боли, кровь исполина, обогрившая землю вокруг, возбуждала в нем прирожденную жестокость и буйственное упоение. Еще чуть-чуть и... он высунул язык, запыхавшись, чудовище тоже выматывалось, оно бросилось в сосновый распадок, поросший ягелем и кукушкиным льном, но Самуил окоротил дорогу, вцепился в лапы древнего урода и... Услышал, как допотопное создание говорит ему навязчивым голосом старухи: «Дай зашью носок, дай зашью, не противься». От неожиданности он отпустил добычу, так что та, миновав распадок и повалив несколько сухих тонких сосен, вырвалась

на болотину и, чапая, хлюпая, хлипая, обратилась к дальней гари.

В сосняке было тихо, не слышалось ни единой птицы. Самуил почувствовал, что несколько тысячелетий назад он был здесь, да, во сне бывает такая нелепая убежденность в том, что здравый ум наяву способен только обсмеять. Вокруг него был черничник — перезревшие скукоженные ягоды возбуждали дурной аппетит. Вдруг ягель на пригорке задвигался — сперва неуверенно, а затем скоро, он внезапно осознал, что за ним прячутся мыши — громадные, тучные, бессмысленные в своем существовании мыши. Самуил тотчас же напрыгнул на серебристо-зеленоватый ковер, и тот под его весом начал распадаться, отовсюду повыскакивали мыши, они тоненько причитали и пищали: «Ничего не случилось, бабушка, ничего...» Под лапой он ощутил шуршание пакета, а затем, выхватив одну особенно толстую особь палевого оттенка, укусил ее в загривок.

Боль, будто бы скопленная злым божком и в одночасье выпущенная им на волю, пронзила все его существо. Он проснулся и увидел, что лежак залит кровавой слюною, а он кусает край хозяйской фуфайки. Его язык ощупал поведенный правый клык, и он внезапно осознал, что, прежде чем тот вывалится, он умрет. Хотелось забиться в темноту, какой-нибудь склизкий мрак, полный шорохов и небытия. Голос хозяина, принадлежавший заискивающему

человеку, которому приходится говорить уверенно лишь среди домочадцев, нудно толковал пустоте:

— Да, сынок, мужчина должен добиться всего в жизни, понимаешь? Социальный статус. Ты меня слушаешь?

В ответ пустота извергла что-то нечленораздельное. Хозяин удовлетворенно продолжал:

— Посмотри на меня, я многого добился. Да, а все почему? Потому что надо уважать начальство, им виднее, понимаешь? Ты у нас любитель дверью гроыхать, но к чему это приводит? То-то же, сынок.

И они стали говорить о ноже, который Герман заказал по сети для своего отца, — рукоять из железного дерева, заточка лезвия в двадцать пять градусов и легированная сталь с повышенным содержанием хрома, никеля и молибдена — все честь по чести. Самуилу смутно подумалось, будто красотой резака он отыгрывает свою общественную приниженность. Конечно, людям сложнее: им постоянно приходится доказывать друг другу, что именно они достойны получать больше еды и квадратных метров, — своего рода они куда больше рабы своего общества, чем животные — рабы природы. Челюсть тюкала, и было тяжело дышать, хотелось широко раскрыть глотку и изгнать то, что мешало ему, — крысоподобную саркому.

Из коридора послышался бодрый голос Ирины, которая до неестественности

громогласно крикнула: «Папулечка, я пошла в гости к подружкам!» Тот, слушая внимательно Германа, что-то буркнул, стул под ним треснул, а затем Самуил услышал, как железный засов проскрежетал в искомую выемку. Передним лапам было зябко, дело шло к вечеру. Сосна за окном побронзовела, боярышник расхлябанно вытянулся, а по поредевшему числу вязко-багряных ягод было видно, что за то время, пока он предавался сну, птицы прошерстили ветви. Свет приобрел предсмертную густоту, по-прежнему светлое небо было подернуто белесой дымкой по окраинам — все предвещало холодную ночь с обилием звездных сыпей и гроздьев.

Старуха наверняка ушла до прихода хозяина, она его с трудом переносила и ненавидела, главным образом из-за привычки курить на кухне (в прежнее время она сочувственно внюхивалась в бока Самуила, качала головой и немедленно тянулась к массажной расческе) и за лживость. Она искренне полагала, будто он сделал ее дочь несчастной и что ее Ксана могла рассчитывать на более надежное мужское плечо, грудь, спину. Ее ненависть была небезосновательна, потому что зять вернулся в семью после семилетнего отсутствия только в тот год, когда был рожден Самуил. Что он помнил из того времени? Запах волос своей хозяйки, в которых он любил путаться всю свою жизнь, подобие воспоминания о матери, которая шершавым своим языком

вылизывала ему мордочку, и первый день в новой квартире с кричащими детьми, тискавшими его до потери памяти. С тех самых пор он трусливо затихал всякий раз, как слышал доносящийся из подъезда детский альт, а когда, бывало, в его квартиру приходили гости с детьми, тогда он прятался под тахту и отсутствовал вечер напролет, полагая, что прошлое никуда не ушло, а только затаилось в каком-нибудь холодном, всенепременно вечернем сумраке грядущего и ожидает расслабления его бдительности, чтобы предстать перед ним во всей своей ужасающей отчетливости и неизбывности.

Ему захотелось пить, и с вялостью старых кошек он выпрыгнул из шкафа, приблизился к хозяину, который допытывался у Германа о свойствах ножа, держа в правой руке кожаные ножны цвета крапак с вытисненным двуглавым орлом, и призывно произнес что-то, похожее на мяуканье.

— А, Семен Семеныч, старая бестия, пить захотел! — оживился отец Германа.

Они разговаривали с ним разнообразнее, чем меж собой, по крайней мере, это относилось к тем разговорам, которые были слышны ему, а он многому за эти годы успел внять своими черными ушами с затейливыми розовыми выемками у основания. Они говорили с ним как с ребенком, аффектированно, стараясь подбирать самые бессмысленные выражения из их словаря, даже Герман подчас грешил

ребячливостью и в прежние времена выставлял на край тахты пятерню с дрыгавшимися пальцами и тем самым приглашал его к игре, на которую — боги! — тот с готовностью отзывался.

Он никогда не пил из миски, даже если домоладцы отсутствовали, он не снисходил до того, чтобы лакать застоявшуюся воду нагнувшись. Самуил вставал задними лапами на кафельный порожек, под которым пролагались трубы, а передними опирался на край ванны и вытягивал голову свою к крану, причем он пил, кривя тугую струю и странно высовывая длинный язык, только теплую воду; так что сейчас хозяин, повернув синий вентиль, принялся понемногу надавать красный, держа правую руку под ключевой струей.

Пока он пил, хозяин принес салфетки, чтобы, наматывая на них скопившуюся у рта Самуила слюну с красными нитями, хоть как-то избавить его от неудобства, а помытые полы — от загрязнения.

Лишь спустя полминуты удалось вырваться и, не обращая внимания на хозяйские воззвания, он направился к своему лежаку. Его кормили в последнее время исключительно из безыгольного шприца, он не мог прожевывать даже мягкий корм, и потому хозяйка размалывала куски, наполняла жижей шприцы, которые затем укладывала в боковину холодильника.

— Оставь его, мне кажется, не стоит его трогать, отец. Пускай он побудет в одиночестве, это

единственное, чем мы можем ему помочь, — сказал Герман и опустил глаза к книге.

Хозяин страдальчески цыкнул, вышел на кухню и закурил, отворив нараспашку форточку, — его гулкий голос донесся до слуха Самуила:

— Алло? Леночка? Да тише ты...

Было мучительно осознавать, что ты проживаешь последние дни, а они, будучи столь полно воспринятыми и выпуклыми, так похожат на твое прежнее бытие-бытование. А потом рождалась скорбь от того, что прежнюю свою жизнь ты не рассматривал этим тягостным глубоким взглядом, подмечая в ней глубины, которые мнил в жизни других созданий, не похожих на тебя, — людей, богов; а ведь что такое жизнь этих существ, если не редкие осознанные мгновения, которые едва ли остаются в памяти. Остается их образ, памятование, но не они сами, а потом и они вторично заменяются образом собственно памяти, и выходит, что мы можем вспоминать лишь о воспоминании, а мыслить лишь образом образа? И стоила ли, в конце концов, та грядущая пятидесятилетняя жизнь Ирины хоть одной его большой мысли, которой не дано умереть, видят боги, не дано, или ложь хозяина, набравшего ежевечерне в своем сотовом, который Самуилу так хотелось искушать, номер «Владимира Николаевича» и каждый раз размягчавшего голос до слащавого «Леночка», хоть единого проблеска его

умирающего сознания — да будет! — не сознания даже, а духа.

Он почувствовал, как холодеют лапы, почувствовал осенние сумерки, заползшие в квартиру, но не видел блеклой лампы, которую Герман подвесил на ручку пластикового окна над своей головой. До его слуха доносился шум улицы — подростковый вечерний гомон, гул дальних дорог, рык отпираемых гаражей и шершавый тропот ночного пьяницы, шедшего мимо. Ноги заплетались, мысли заплетались. Тени от лампы, легшие на линолеум, показались ему ворохами мертвых мышей, из глубин этих ворохов к нему поднимался некто. Он закрыл глаза до остервенения, так что от усилия на коже, покрывшей глазные яблоки, показался красный отсвет.

Внезапно дверь в комнату отворилась, на пороге показалась — боже мой! — хозяйка в сером подпоясанном плаще, она держала в одной руке бутылку молока с улыбчивым обреченным мультипликационным котоподобным существом на этикетке, а другой — длинной-длинной, серой-серой — отводила дверь шкафа, в котором лежал Самуил. Кажется, она о чем-то осведомилась у Германа, затем у мужа, крикнула последнему что-то необыкновенно злое и потянулась к Самуилу.

Его боль куда-то отступила, он обнимал свою хозяйку, и сейчас ему казалось, будто его мать и эта женщина — одно и то же лицо, будто дух одной, умерев... Все плыло и путалось.

От восторга он кусал ей волосы, окрашенные хною, пачкал кровавой слюной ее чудесный серый плащ и был счастлив, потому что дождался ее. Его взгляд падал на окружающие предметы, но проходил сквозь них, она, подняв его художочное тело и начав кружить по комнате, что обращалась в большое допотопное чудовище, что-то говорила ему. «Сэм, Сэмушистик, мы все тебя так любим». Сумасшедшая старуха кивала из своего бытия, Герман улыбнулся — впервые за несколько лет, хозяин почтительно замолчал, а Ирина, встав перед ним на колени, принялась вылизывать ему шерсть своим шершавым языком. И он любил всех, а все так любили его и желали ему лишь одного — исцеления, счастливого избавления от саркомы, и он зарывался в ее волосы, мурлыкал и верил, что можно еще все изменить. Он пережил расставание с нею, с его хозяйкою-матерью, с Великою матерью, с кошачьей головой и человеческим телом, а теперь все позади — и мысль — та, глубокая мысль, но какая точно — он забыл, та, которая не умирает и не воскресает, быть может, вовсе стала ему не нужна.

Но вдруг от избытка радости, от кошачьего восторга, от переполнения самим собой ему стало тяжело дышать, он стал надрывно чихать, кружение внезапно прекратилось — и кровь, вернее кровь-мысль, пошла у него из легких через рот; он смотрел, раскрыв удивленно глаза, как будто бы его обманули или как будто он

видел за предметами синих богов, манящих его к новому лону, он смотрел на запачканный серый плащ, на ее незабываемые глаза, из которых лились крупные слезы и мочили ему кончики передних лап, и молчал. Он лежал перед ней, обнажив полысевший живот, широко разведя лапы в стороны, и видел, как она, попытавшись уложить его ничком, колотит себя руками по лбу и кладет его в том же положении на линолеум, полный теней, а он — боги! я всегда верил в вас — радостно, тихо и торжественно кончается на нем, захлебываясь кровью, умирая от саркомы нижней челюсти, что дала метастазы в его правое легкое, обрстая вечностью и припоминая ту самую мысль, которую он твердо помнил в последний день своей жизни.

И найдя, нащупав своим кошачьим мозгом размером с крупную сливу эту победоносную мысль, он внезапно услышал, как родной ему голос — голос Великой матери-хозяйки, произнес над ним его имя, которое только теперь он соотнес с самим собой — уяснил — и поразился сказанному:

— Самуил! Самуил умер!

неумирающий

Огромный вал ненависти вывел его из небытия, и с тех пор он пребывает вовеки, война отгремела восемьдесят лет назад, а он, движимый всей той мерзостью, которая есть в нас, перехоронивший всех своих детей, терзающий заживо внуков, горит черным злом, ухмыляется в зеркало, до которого ему без посторонней помощи уже не дотянуться, и перерабатывает душевную гнусность в свою жизнь. Хоть бы хны. Его ничто не берет: ни время, ни лишения. Когда он ослеп, Ната попробовала кормить его всякой дрянью, стала наведываться к нему реже, мысль о том, чтобы заморить его голодом, крутилась в ее голове огненной лисой, но однажды он со злобы вылил приготовленный ею рассольник ей на ноги, колени ошпаренные краснели в ванном зеркале две недели, кожа отходила тонкими белесыми слоями трижды. И тогда она решила подсыпать ему яду: неважно какого... подсыпать вместо лекарства... И пока

она убивала своего прадедушку в мыслях, он прозрел.

— На-а-а-атка! Поди сюда! — сотрясался мир от его слов. И ей было оскорбительно от того, что он звал ее Наткой, и сразу вспомнилась мать, чье имя он коверкал от обилия внуков, мать, что, умирая, передала ей заботу о нем по наследству, как иные передают долги и болезни. — На-а-а-атка! Почему полы грязные, все в разводах? Был бы я на сорок лет младше, я бы тебя, курву, научил мытью полов!

И он стал стучать огромным костылем по стене. Штукатурка шелушивалась с потолка, а он моргал бессмысленными красными глазами, поворачивая лысую голову из стороны в сторону. Ната отступила на шаг и замерла, подумав: неужели она его убила в мыслях и теперь у него начались предсмертные судороги?

— Ты чего, дура, стоишь? Вызывай скорую, чтобы чудо засвидетельствовать!

И она повиновалась не его словам, не его голосу, а огромной воле, что плескалась в нем, в его непомерном теле — с виду сухом, но на деле — собранно-мускулистом.

Прибывший фельдшер-усач долго светил в зрачки Валериану Викторовичу фонариком размером с мелок и робко улыбался, будто извиняясь за неумелость всей своей врачебной науки.

— Сошла? Ну? Сошла короста с глаз? Прозрел я? — гудел *тот*.

Фельдшер кивал, словно шарнирный игрушечный пес, поставленный над рулем.

— Наверное, катаракта сошла с глаз.

— Это у вас катаракта на глазах. У всех. А я буду жить вечно, я вас всех переживу! — кричал *тот* и молотил костылем по стенам. Фельдшер ехидно-успокоительно улыбался, Ната была рада что-нибудь сказать, да боялась, что ее увещевания потонут в брани прадеда, а соседи, почти сжитые им со свету, опозоренные, опасались отвечать ему даже стенным пристуком.

Ната помнила, как прадед несколько лет назад метался из одних присутственных мест в другие, порождая хаос и гнев, порождая бумажный кавардак, множа обращения как сумасшедший, но при попустительстве тогдашнего градоначальника — не плоти от плоти его, даже не гипсового слепка — все сходило ему с рук, и он, огромный, колясочный, добился выселения какого-то пропойцы из подъезда, а затем подчинил своей воле весь дом, потому что он ходил с помощью матери Наты по инстанциям, тряс золотой звездой, швырял ее в небо, говорил: «Господь? Так жри звезды! Ты же ими питаешься!» И огромная государственная машина, поощрявшая героев войны, тем более той войны, где не было людских слабостей, а люди были драконового семени, шла у него на поводу, иначе бы как это выглядело со стороны? Соседи пытаются свести в могилу ветерана, а государство безмолвствует, — пусть ветеран этот

и немного буйный? При явлении начальства у него хватало не столько смирения, сколько презрения становиться тихим, потому что он искренне считал, что те, высшие, не стоят ногтей его, состригаемых Натой по воскресеньям.

Фельдшер с жалостью взглянул на Нату, помялся и вышел, захватив с собой сундук уже бесполезных принадлежностей. Нату захлестнула скорбь по мужским рукам, тоска поползнем бегала по ее телу: сверху-вниз, снизу-вверх. Да и будь у нее кто-нибудь кроме безродного кастрированного кота, не попытался бы дед избавиться от него какой-нибудь выходкой, обвинить в надуманном неблагодеянии, как добился он уничтожения детской площадки во дворе, потому что детские крики блуждали в его голове, как рыбы, из которых нельзя было сварить уху, и он, выпрыгивая из своей коляски, хватаясь за вытянутый набалдашник трости, сделанной под заказ, кричал в телевизионную камеру как себе в душу: «Они нацисты, нацисты! Они не понимают, ради чего я воевал! Вы что, хотите, чтобы я умер под возгласы нацистов? Не убила война, так убьют благодарные потомки?» И общество в лице прошлого градоначальника решило: жизнь ветерана сохранить, а площадку снести, завалив покрышками, в которых первое время росли чахлые бархатцы, а на второй год из них вырезали затейливых лебедей с изящно-хищными клювами.

— Н-а-а-а-атка! Звони Петрову! Скажи ему, что я прозрел!

Петров — так звали его куратора, которого ему представил в прошлом году сам губернатор после торжественного открытия мраморной таблички на школе, где прадед учился — учился ли вообще? — или он украл и эти воспоминания, как теперь украл жизнь Наты? — тогда он намеренно наехал колясочным колесом на туфель губернатору, но улыбка того только шире расцвела — он весь состоял из улыбок — и, откашливаясь, уходя прочь от него, вытолкал вперед себя полковника запаса, который знал все о фронтах войны и сколько тридцатьчетверок было выпущено, все знал, кроме ощущения горящего танка, когда ты пытаешься выбраться через нижний люк, а он не поддается, и ты мечешься, как слепой, по узким внутренностям танка со сбитыми гусеницами — и еще секунда, еще вечность — и теперь вы не просто сгорите, а будете гореть до тех пор, пока через восемьдесят лет до вас не дойдет предназначавшийся вам снаряд далекой гаубицы, — и полыхнет боекомплект — и все затихнет, и березовые корни по прошествии года примут вас ближе к себе, и вы станете белеющими скелетами, пока вас не найдет поисковый отряд, который возглавляет чужая правнучка со странным именем Ната. Не найдет и не предаст земле.

— Ну, что он сказал? Что? — спросил прадед, мерцая красными глазами, зарей заливающими мир.

— Что нужно подумать, — ответила обес-
силенно Ната.

И дедушка стал браниться как не в себя, припоминая военкоматовское прошлое Петрова, и эту власть, которую он переживает, и сотни миллионов людей, которые умерли за время его бытования! — да что там сотни! — и миллиарды куриц, которым свернули шеи и чьи хрящики он обсасывал на обед, и детей, которых он отнял от себя, а потом принял, что испытывал сам Господь Бог, принимая внутрь себя сына-шалопая, и что бог может знать о жизни, не умирая каждое мгновение? Сделал одолжение, дворянчик херов, откинул лыжи однажды, а кто-то умирает по десять тысяч раз, на войне умираешь по десять тысяч раз, да что вы знаете, вы, развалившие страну-вечность, которую он, боясь расплескать, носил внутри себя, словно яйцо, заключавшее в себе желток?

Ната мыла кастрюлю — и со смесью ужаса от его криков и радости от прозрения надеялась на то, что урок памяти все-таки состоится в этом году и ему снова надарят столько цветов, сколько ей не дарили за всю жизнь, и он скажет ей: «На! Любил я твою мать. Единственную любил». И она вспомнит, как та уходила, — вместе с пеной, сходящей с руки, вместе с пригарышами и мелко нарезанными кусками лука — на зарешеченное дно слива, из которого пахло затхлостью и из которого нет дороги назад, как бы кто кого ни любил.

Еще до ухода Наты позвонил Петров и сказал, что согласовал урок памяти в этом году

в преддверии вручения ключей от нового дома ее деду, «только не говорите ему ничего» — своим прокуренным голосом он брал по низам так, словно делал Нате предложение. И конечно же, ему нужно ехать на сборы, — голос загремел — и потому тысяча извинений, но он не сможет сопровождать героя войны, — именно так и сказал, хотя речь шла о ее прадеде, который ненавидел эту жизнь до колик и потому собирался жить вечно, так что ей одной придется слушать то, как роды войск, в которых прадед нес службу, меняются с невероятной чехардой, как «мессершмитты» отвратительно погуживают, а «юнкерсы» бухают, но что это не имеет никакого значения, потому что его сослуживец, которого звали Иванов-Петров-Сидоров, которого у него не было, который умер, но попал в плен, а потом воскрес, который, словом, был им самим, сказал перед решающим боем за местность, в которой спустя двадцать лет откроют памятник безымянному солдату, что Родина их не забудет. «Что же, Родина нас не забыла, но помним ли мы сами Родину», — заключал дед, и скучающие лица учеников раздражались осмысленностью конца, который означало это предложение — единственное из рассказов о войне, что оставалось неизменным в речах прадеда.

— На-а-атка! Поди-ка сюда!

Ната послушно пришла к нему в комнату, встала перед ним как на духу, не загораживая

экран, замерший тьмою, и доложила, что на следующей неделе они пойдут на урок памяти.

— Вот видишь, я говорил, что они все меня боятся, боятся, что я встану со своей коляски! Ну-ка, — сказал он и поманил властным движением к себе Нату. — Помоги подняться!

— Дедушка!

— Фриц тебе дедушка! Давай!

И, придерживая его за рукав истершегося пиджака, она безмолвно стояла рядом с ним и видела, как он, малахольно расправляясь, встает с коляски и, опираясь на дрожащую трость с вытянутым набалдашником, делает несколько шагов. Господи, думает она, неужели все из-за того, что она хотела его отравить? Глазам нет веры, а чему вообще есть вера, если немощные встают со своих постелей и сминают простыни свои, не славя бога?

— Ну, хорошо?

У Наты не нашлось слов подтверждения, тем более — изумления. Как он мог прозреть в один день и подняться со своей коляски, пусть ноги его дрожали, пусть тапки соскочили с его ног, словно ожившие кролики, может быть, все немочи его — это издевка над нею и над целым миром? Что она вообще о нем знает: кого он любил? как ему удалось выбраться из того горящего танка, менявшего прозвания и номера, менявшего окрас по-змеиному, и время года сменялось другим, и человек менялся до неузнаваемости — даже имя его покрывалось мраком,